

Глеб Иванович Успенский

Смерть В. М. Гаршина



Глеб Иванович Успенский

Смерть В. М. Гаршина

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=666445

Аннотация

В своей статье Успенский показал, что Гаршин явился жертвой невыносимых для чуткого и честного человека условий социального строя царской России. Против Успенского резко выступили либерально-народнические публицисты... Их статьи имели целью затушевать истинные причины гибели Гаршина, объясняя ее психическим расстройством и мотивами личной трагедии. Эту точку зрения поддержал В. Г. Короленко, осудивший «смертельно-мрачное мировоззрение» Гаршина и увидевший в пессимизме писателя причину его смерти.

Содержание

I	4
II	12
III	19
IV	23
Примечания	25

Глеб Иванович Успенский

Смерть В. М. Гаршина

I

В бесконечной веренице всяких степеней и качеств тех психических страданий, которыми изнурено почти все современное культурное общество, есть один род такого психического недуга, особенности которого, мне кажется, весьма приметны в жизни В. М., главное, в его удивительной смерти. Этот род недуга, именуемый «параличом воли», выяснен в одном из научных писем г. Эльпе¹, в его возникновении и последствиях, следующим образом: «Всякое *психическое состояние*, чем бы оно ни порождалось, *стремится перейти* в движение, *во внешнее действие*, характеризующееся разнообразными изменениями во всех так называемых физиологических отправлениях нашего организма». «Эти отправления суть *внешние показатели внутреннего психического состояния*. Физиологические внешние отправления понижаются или повышаются в своей интенсивности сооб-

¹ ...*писем г. Эльпе*. – Статья Эльпе, цитируемая Успенским, помещена в газете «Новое время» 11/23 февраля 1888 года, № 4294, под заголовком: «Научные письма. Душевные состояния и внешние действия». Успенский допускает некоторые несущественные неточности в цитатах из этой статьи.

разно с интенсивностью психического настроения, стремящегося перейти во внешнее действие». Но представьте себе, что вследствие каких бы то ни было причин (о них речь будет ниже) это *стремление* (отразить психическое состояние во внешнем движении, поступке) сокращается до нуля, тогда становится невозможной и зависящая от психического стремления внешняя деятельность, например деятельность мышечной системы. При этом как *«мышечная система, так и все органы движения могут пребывать в совершенно нормальном состоянии, в таком же нормальном состоянии могут находиться и умственные способности, но за отсутствием стремления выразить потребности психического настроения в действии – действия этого не будет»*. *Паралич воли* есть поэтому прекращение, *смерть самого желания выразить* в действии то, что наполняет душу, причем, однако же, *«могут сохраняться все умственные способности в совершенно нормальном состоянии»*.

Человек, захваченный этим недугом, может переживать удивительно мучительные минуты...

«Он желает и внутренне стремится, как никогда прежде, исполнить то, что считает возможным, что считает своей обязанностью, *но его умственная сила неизмеримо превосходит не только способность действовать, но даже пытаться действовать...* он понимает, он видит свой долг, – но не может его выполнить...»

«Больной сознает необходимость деятельности. Рассудок

говорит ему, что это нужно сделать», физическое состояние организма несколько тому не препятствует, мышечная система здорова, органы движения также, стоит только *попытаться*, но этого-то побуждения, *стремления* и нет.

«Знаю, что это нужно, – говорил Эспиролю один из его пациентов, страдавший параличом воли, – и не могу! Ваши советы разумны, и я желал бы последовать им, *но заставьте меня хотеть это сделать*, так хотеть, чтобы я не мог этого не сделать. Я вижу, что у меня не хватает только *воли желать*, так как рассудок мой сохранен и я знаю, что я должен делать».

«...Некоторые из нерешительных характеров, хоть и очень немногие, бывают таковыми именно вследствие *богатства идей*: сравнения мотивов, рассуждение, взвешивание последствий образуют чрезвычайно сложную мозговую работу, в которой стремления к действию задерживаются друг другом...»

«...Нет такого ощущения, чувствования, такого, наконец, впечатления, которое бы не стремилось перейти в действие, которое бы не отражалось на мышечной системе. Но если вследствие какой-нибудь причины соотношение это нарушено, тогда мышечная система, при самом нормальном, здоровом состоянии, мало того, что может оказаться непригодной для самых насущных своих назначений, – *но может породить ряд действий*, в высшей степени нецелесообразных и прямо противоположных тем, которые *желательны*

и необходимы».

Вот в каком облике рисуется нам человек, отягченный недугом паралича воли, и если мы на минуту припомним кое-какие подробности ближайших к смерти Гаршина минут, то не можем не увидеть, что в обстоятельствах этой смерти есть все признаки этого недуга. Как бы ни было неотразимо для Гаршина медленное, упорное развитие его пессимистических идей, – сильные впечатления его личной жизни были для него настолько благоприятны, что самое логическое развитие в нем пессимистической мысли о суете сует вообще не могло бы лично его убедить в том, что он-то и должен отдать себя на жертву логически развившихся идей. Каждая написанная им строчка имела внимательного и любящего читателя; общество, в котором он жил, было общество, почти все состоявшее из людей, которые его понимали, общество лучшее и, кроме того, любящее его. Все это, – если мы вспомним кое-что из характеристики описываемого психического состояния, – не только не звало его к смерти, не доказывало ему, что все суета сует, – но,!!!! напротив, звало жить, обязывало действовать, переполняло его мысли обилием идей, и он, – как больной Эспироля, – знал, что нужно делать, что дела много, но не мог ощутить желания, *хотения*, утратил способность *стремления* отражать в каком-нибудь действии обилие мыслей; мыслей была тьма, и сознание обязанностей огромное, но все это было как бы закупорено в закупоренном сосуде; он не только не мог логически

додумать и дойти во имя пессимистических идей до мысли о смерти, – но, напротив, знал, что ему надобно откупорить самого себя, как больной жаждал поставить себя в положение, которое бы разбило эти крепкие стенки бутылки. В убеждении выйти из такого положения он собрался ехать на Кавказ, и накануне его смерти, за несколько часов до нее, в его квартире было уже все уложено, завязано, упаковано. Он чувствовал, что его, как того же больного Эспироля, надо *заставить хотеть*, надо взять, посадить в вагон и увезти. Вот его желания, *необходимые ему*, желательные ему всем обилием мыслей, но недуг заставляет его поступить прямо *противоположно* этим истинным его желаниям. Он *знает*, что ему надо жить, но нет в нем тени *хотеть* жить: с обилием мыслей, с обилием доводов, убеждающих его в этой необходимости жить и исполнять свои обязанности, он падает с лестницы, как камень, не зная, что с ним творится, и думая, наверно, о том, что надо жить, ехать на Кавказ, что все готово. Это – как бы одна голова, живущая полною мыслей и желаний, намерений, но лишенная всего остального аппарата человеческого организма, покоряющаяся внешнему толчку,двигающаяся сообразно его силе и катящаяся туда, куда влечет ее этот толчок, тогда как мысли, наполняющие голову, не имеют с этим толчком ни малейшей связи.

Я знаю, что сравнение, сделанное мною, грубо и неприятно, – но в таком грубом виде, я думаю, легче удержать в памяти общее представление об этом недуге, а это необходи-

мо ввиду того, что ниже мы попытаемся выяснить признаки именно этого недуга в жизни и в литературной деятельности В. М. Теперь обратимся к выяснению вопроса о том, какие именно причины могут довести нормального, физически здорового человека до такого невероятного психического состояния?

Причин, перечисленных г. Эльпе в его научном обзоре, указано великое множество – от неумеренного употребления опиума до чуткости к страху и т. д. Но мы здесь их перечислять не будем, а остановимся только на одной, имеющей для нас самое существенное значение.

«Когда ребенок, – говорит г. Эльпе, – не знает с детства себе другой клички, кроме злого, гадкого, когда отовсюду он слышит себе предсказания: «из него выйдет разбойник», «быть ему в каторге» и т. д., то нередко он и действительно становится таковым: достаточно ничтожного повода, чтобы внушенная идея проложила себе путь в жизни. Точно так же бывает и тогда, когда ребенку внушается недоверие к своим силам, способностям, когда это внушение поддерживается в нем всем ходом его воспитания; в душе ребенка зарождается сомнение в своих силах; ему кажется, что он действительно «не может» и не способен, и затем является сознание бессилия, переходящее в слабость действия». Указав, таким образом, значение внешних влияний на отдельную личность, г. Эльпе говорит и о значении таких же внешних влияний и в психическом настроении общества и, следовательно-

но, каждого живущего в этом обществе человека. «Когда обществу устами его авторитетнейших представителей внушается, на разные варианты, но всегда *настойчиво*, мысль о его слабости, беспомощности; когда печатным словом и иными способами с особенным усердием бракуется всякое начинание своего, родного; с особенным удовольствием подчеркивается и размазывается та или другая неудача; поднимается на смех малейшая попытка к самостоятельности; когда атмосфера, в которой живет и дышит общество, насыщается недоверием к своим силам; когда только и слышится: куда нам, где нам; тогда это внушаемое недоверие исподволь переходит в *действительное бессилие* и постепенно понижает энергию общественной жизни – деятельности, приучает общество к мысли, что оно действительно беспомощно, что оно не может жить без помочей». Оставляя в стороне особенность и качества тех внушений, которые отмечает г. Эльпе, и взяв из вышеприведенного отрывка только то, что объясняет факт нравственного общественного бессилия, – мы увидим, что вообще тон общественной жизни, влияния, преобладающие в нем, однообразие и, главное, *настойчивость* этих влияний, *разнообразие средств*, которыми они проводятся в общество, и *непрестанное однообразие в сущности* этих влияний, – все это может развить в человеке, живущем среди этих влияний, точно такие же симптомы психического недуга, точно так же парализовать волю, привести это расстройство к тем самым последствиям, к которым приводят

и другие, перечисляемые г. Эльпе, причины недуга: опиум, страх а т. д. Все эти выводы г. Эльпе делает, ссылаясь на авторитетные европейской науке имена, – и мы, простые смертные, не можем сделать ничего иного, как принять их за выводы, достоверные и для нас поучительные. Попробуем же теперь, пересмотрев факты жизни и литературной деятельности В. М., – отметить и в том и в другом значение внешних общественных настроений и веяний, которым он, как человек известного времени, родившийся и живший в известные годы, невольно должен был, как и все его сверстники, подчиняться и покоряться. Не значат ли что-нибудь эти веяния и внешние влияния *известного времени* в развитии в нем того недуга, который довел его до возможности *поступить совершенно противоположно желательному?*..

II

Вопрос о наследственности в психическом расстройстве Гаршина не подлежит никакому сомнению, и расстройство это играет как в жизни, так и в смерти В. М. весьма существенную роль. Спрашивается: какого же качества должно быть это нервное расстройство, если человек, подвергавшийся ему периодически, периодически же был совершенно нормален и мог быть даже вполне здравомыслящим человеком, – да еще замечательным писателем? Где и в чем тот поворотный пункт в сознательной жизни В. М., на котором здравомыслящий художник превращается в нездравомышленного помешанного? К сожалению, для уяснения этого вопроса у нас нет под рукою надлежащего материала, и мы должны довольствоваться только небольшой заметкой врача-психиатра д-ра Сикорского, появившейся в 1884 году в редактируемом профессором г. Мержеевским журнале «Вестник клинической и судебной психиатрии и невропатологии». Впрочем, заметка эта, хотя и составляет единственный материал, при помощи которого мы можем добраться до уяснения себе *качества* нервного расстройства В. М., но и ее нам будет совершенно достаточно в виду наших соображений, так как она прямо ставит дело на надлежащую почву.

В этой заметке д-р Сикорский, вполне компетентный врач-психиатр, обращает внимание врачей-товарищей на ок-

тябрьскую (1883 г.) книжку «Отечественных записок» и на рассказ В. М. «Красный цветок», в котором он нашел «чуждое аффектации и субъективизма, правдивое описание маниакального состояния, сделанное в художественной форме». «Изображение общего маниакального возбуждения со смутными экспансивными идеями, которые еще не приняли определенной конкретной формы и представляются больному в виде неясных силуэтов», г. Сикорский называл *классическим*. «В особенности рельефно представлено совместное существование двух сознаний – нормального и патологического». Нередко можно встретить отпечаток клинической правды в «изображении светлых промежутков та перехода от них к болезненному приступу». «Общее чувственно-двигательное возбуждение маниака!!!! нарисовано меткими чертами». «Ассоциации болезненных идей подмечены автором, и прослежены с поразительной тонкостью. Эта сторона рассказа с психиатрической точки зрения имеет высокие достоинства». «Но всего нагляднее раскрыта удивительная механика ассоциативных репродукций при переходе больного из периода маниакального возбуждения в период, выражающийся фиксированными идеями бреда». Вообще д-р Сикорский считает рассказ «Красный цветок» замечательным психологическим этюдом, прибавляя, что вообще описания, сделанные талантливыми людьми, имевшими несчастье перенести душевную болезнь, имеют для науки особенную ценность. Точно так же и рассказ Гаршина: он «пред-

ставляет собою *не просто сырой материал*, годный для истории болезни. Это скорее *картина болезненного самочувствия*, освещенная тонким, проницательным анализом художественного таланта».

Этот коротенький пересказ статьи г. Сикорского, конечно, не исчерпывает ее содержания во всей полноте, но и по этим незначительным чертам, указанным врачом-психиатром, мы уже можем до некоторой степени судить о *качестве* психической болезни Гаршина. Он, как оказывается, будучи психически болен, *может удерживать в памяти* всё мельчайшие подробности переходных ступеней недуга, то есть *до точности помнить* весь ход собственной своей болезни, наблюдает *сам себя*, как самый лучший врач-психиатр. Уже одно это качество психического расстройства г. Сикорский ценит чрезвычайно и указывает, как на редкий случай, на профессора Лорда, который *впервые* смог сделать опыты подобного самонаблюдения, «что приобрело ему бессмертную известность».

Но ведь Гаршин в своем «Красном цветке» сумел упомянуть и удерживать в своем внимании переходные моменты *не только болезненного состояния*.

Читая такую вещь, как «Красный цветок», мы, кроме тонких наблюдений над симптомами психической *болезни*, видим, что источник страдания больного человека таится в условиях окружающей его жизни и что оттуда, из жизни, страдание вошло в его душу. Видим, что жизнь оскорбила

в нем чувство справедливости, огорчила его, что мысль о жизненной неправде есть главный корень душевного страдания и что нервное расстройство, физическая боль, физическое страдание только осложняют напряженную работу совершенно определенной мысли, внушенной впечатлениями живой жизни. Огорченная *жизнью* мысль бьется, как бьется перелетная птица с ветром, с туманом, – бьется с симптомами физической болезни, но она, эта мысль, как птица, знающая цель своего полета, – не искажается этими встреченными на пути ее полета препятствиями, а старается пробиться сквозь них, устремляясь к известной цели, в данном случае к похищению цветка, к истреблению его как источника всякого зла. Одно уже то обстоятельство, что психически больной сосредоточивает свое внимание не просто на цветке, а именно на *красном*, и что именно этот цвет обнаруживает неразрывную связь просто физического страдания с страданием нравственным, возбужденным жизнью, впечатлениями пережитого, окрашенными в этот именно красный, кровавый цвет, – уже одно это доказывает, что живые впечатления действительной жизни, известного тона, свойства, смысла и качества, – имеют в психическом расстройстве такого человека, как Гаршин, первенствующее перед физическим расстройством значение. Как на пример того, что Гаршин не всегда повиновался тем пессимистическим идеям, которые проповедовал, и не всегда смотрел на окружающую жизнь как на прах и тлен, укажу на следующий поступок В.

М., сделанный им весной 1880 года².

Несколько писателей собрались где-то в Дмитровском переулке, в только что нанятой квартирке, не имевшей еще мебели, пустой и холодной, чтобы переговорить о возобновлении старого «Русского богатства». В числе прочих был и В. М. Его ненормальное, возбужденное состояние сразу обратило на себя всеобщее внимание. Никто не видал Гаршина в таком виде, в каком он явился в этот раз. Охрипший, с глазами, налитыми кровью и постоянно затопляемыми слезами, он рассказывал какую-то ужасную историю, но не договаривал, прерывал, плакал и бегал в кухню под кран пить воду и мочить голову. На его беду, в ту самую минуту, когда он только что с жадностью наглотался холодной воды, в кухню вошел матрос с мешком на плече и предложил купить рижского бальзама. Гаршин немедленно купил бутылку, откупорил ее, налил целый стакан, опустошил его как воду, очевидно, не понимая, что такое с ним творится, и, видимо,

² ...поступок... весной 1880 года. – 20 февраля 1880 года было совершено покушение на главного начальника особой «Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия» графа М. Т. Лорис-Меликова. В знак протеста против административного произвола И. Млодицкий выстрелил в диктатора, но промахнулся. В тот же день было произведено следствие, на 22 февраля назначена казнь. Приговор стал известен в городе. Желая спасти Млодицкого, Гаршин 21 февраля обратился с письмом к Лорис-Меликову и накануне казни явился к нему, умоляя пощадить осужденного. Заступничество Гаршина, разумеется, успеха не имело, и Млодицкий был казнен. В связи с этим душевные страдания Гаршина чрезвычайно обострились и перешли в психическое заболевание, от которого ему удалось оправиться лишь через полтора-два года.

не зная, как развязаться с ужаснейшим душевным расстройством. Все это происходило в течение не более пяти минут, и только тогда, когда кто-то, из знавших Гаршина ближе меня, увез его домой, я мог спросить: что такое с ним случилось?

А с Гаршиным было следующее: накануне того дня, когда я видел его в новорождавшейся редакции, он ночью, в три часа, также для храбрости, выпил вина (вообще он совершенно не пил вина), почти ворвался к одному высокопоставленному лицу в Петербурге, добился, что лицо это разбудили, и стал умолять его на коленях, в слезах, от глубины души, с воплями раздиравшегося на части сердца о снисхождении к какому-то лицу, подлежавшему строгому наказанию. Говорят, что высокое лицо сказало ему несколько успокоительных слов, и он ушел. Но он не спал всю ночь, быть может весь предшествовавший день; он охрип именно от напряженной мольбы, от крика о милосердии, и, зная сам, что, по тысяче причин, просьба его дело невыполнимое – стал уже хворать, болеть, пил стаканами рижский бальзам, плакал, потом скрылся из Петербурга, оказался где-то в чьем-то имении, в Тульской губ<ернии>, верхом на лошади, в одном сюртуке, потом пешком, по грязи доплелся до Ясной Поляны, потом еще куда-то ушел, словом поступал *«как сумасшедший»*, пока не дошел до состояния, в котором больного кладут в больницу.

Таким образом, *«как сумасшедшим»* Гаршин сделался и в этот раз не потому только, что он в этом отношении уже ис-

порчен наследственностью, что он только был *болен*, но потому, что его наследственную *болезнь* питали впечатлениями действительной жизни...

III

Теперь мы спросим: какие же именно и какого качества впечатления давала жизнь уму и совести В. М.? В чем заключается сущность этих впечатлений и их качество?

Два маленьких томика рассказов Гаршина весьма точно ответят нам на эти вопросы, так как в его маленьких рассказах и сказках, иногда в несколько страничек, положительно исчерпано *все содержание* нашей жизни, *в условиях которой пришлось жить и Гаршину и всем его читателям*. Говоря – «все содержание жизни нашей», я не употребляю здесь какой-нибудь пышной и необдуманной фразы, – нет, именно *все*, что давала наиболее важного его уму и сердцу наша жизнь (наша – не значит только русская, – а жизнь людей нашего времени вообще), все до последней черты пережито, перечувствовано им самым жгучим чувством и именно поэтому-то и могло быть высказано только в двух, да еще таких маленьких, книжках.

Пристрастие к изложению своих мыслей в сказочной форме есть прямой признак необыкновенной чувствительности к жизненным впечатлениям. Написать о каком-либо явлении жизни «обстоятельно», подробно и много, – было не по нервам Гаршина: ему нужно было как можно скорее освободить себя от угнетающего впечатления переживаемых фактов; они ясны ему до поразительности, и вот на помощь ему

пришла сказка и аллегория. Сказать: «Осел», «Соловей», «Роза», «Навозный жук» применительно к действующим лицам в окружающей нас жизни, – значит сразу определить их типические особенности, «расписывать» которые подробно не позволяет чрезмерная чуткость нервов. Облегчение же себя от жгучести ощущаемых жизненных фактов было необходимо Гаршину еще и потому, что единичный жизненный факт, поразивший его, никогда не мог быть выделен его сознанием из общего строя жизни, ибо именно только такие факты жизни, которые только связаны с ее общим строем, и потрясали его нервы и завладевали всей его духовной деятельностью. Ввиду этого, каждый маленький рассказик или сказка Гаршина всегда исчерпывают или по крайней мере стремятся исчерпать всю массу явлений, соприкасающихся с фактом жизни, давшим толчок для работы его мысли. Вот крошечная сказка: «То, чего не было». В ней всего пять-шесть страниц, но попробуйте сосчитать по пальцам, каких сторон жизни хотел коснуться в ней Гаршин: все, что составляет для всего общества насущнейшую заботу переживаемого им времени, – все стремится Гаршин затронуть, поставить на свое место, указать связь между всею цепью явлений текущей действительности. Вот почему в двух маленьких томиках могло быть передано Гаршиным, – иногда строчкой, иногда одним, как в сказке, словечком, названием, – положительно *все*, что им пережито, передумано и перечувствовано, до конца, до полной невозможности развить свою чув-

ствительность еще в какую-нибудь сторону и в каком бы то ни было направлении. Однако что же именно пережито и перечувствовано им? Для этого достаточно будет припомнить одни только названия его рассказов. «Четыре дня» – ужасная драма непостижимого совестью и умом: убийство друг друга людьми, не имеющими к этому ни тени надобности; факт огромной важности, тяготеющий над всем человечеством и обязывающий не выделять его из общего строя неправд. Думая о связи этого непонятного явления жизни, есть от чего прийти в отчаяние и есть от чего помутиться умом. А вот вам простой *кочегар*, которого также *общие* условия жизни терзают и молотом, и огнем, и горем, и бедностью, – и опять *весь строй* жизни должен быть притянут к ответу за это терзаемое несправедливостью человеческое существо. Точно так же *весь строй* жизни овладевает мыслью Гаршина, когда он пишет о женщине легкого поведения, которая пришла к необходимости броситься в Неву, и тогда, когда он пишет о человеке, который всю ночь борется с необходимостью пустить себе пулю в лоб и желанием жить на свете. И так все в том же роде. Все это вокруг нас, все это обыкновенно, со всем этим мы, большинство, сжились, а еще большее большинство даже и не думало, что можно обо всем этом беспокоиться. Но соберите все эти обыкновеннейшие «сюжеты»: война, самоубийство, каторжный труд неведомому богу, невольный разврат, невольное убийство ближнего, – и вы увидите, что вся совокупность этих обыденных

явлений есть именно существеннейшие язвы современного строя жизни, что за ними не видно хорошего, что времени, возможности даже нет выделить это хорошее из неотразимо действующих фактов зла. Нельзя не мучить себя сознанием, что все это страшный грех человека против человека и что этот ужасный грех – наша жизнь, что мы привыкли жить среди него, что мы не можем не жить именно так, чтобы нашей, страдающей от собственных неправд, душе не приносились эти бесчисленные жертвы.

IV

Я только указал на четыре небольших рассказа, но и они, как видите, охватывают явления окружающей нас жизни на огромное пространство. Обыденный факт требует от впечатлительного ума писателя огромной работы, анализа всего строя общества и неминуемо должен истерзать впечатлительного человека. В двух маленьких книжках Гаршин пережил *все* окружающее нас зло, пережил до последней мелочи, и, приняв в соображение размеры этого пережитого и чрезмерную впечатлительность нервов Гаршина, читатель не может не видеть, что жить и переживать то же самое, и писать на те же темы, то есть, как говорится, «разрабатывать» те же самые ужасы жизни, которые уже пережиты дотла, – было решительно не по натуре, не по нервам Гаршина. Если бы какой-нибудь «прискорбный случай» удалил его из привычной обстановки жизни куда-нибудь в глушь, поставил бы его в условия совершенно иного строя жизни, отодвинул бы от нашего века на два-три столетия, – несомненно, обновление мыслей новым материалом жизни оживило бы духовную деятельность Гаршина. Но помимо того, что Гаршин вырос в Петербурге, то есть в самом источнике влияний, которым должно подчиняться общество, – он должен был всю свою жизнь испытывать ту неумолимую *настойчивость* в неразрешимости всех тех жгучих вопросов, которые он уже пере-

жил. Жизнь не только не сулила хотя бы малейшего движения от глубоко сознанного зла к чему-нибудь... да, хоть к чему-нибудь лучшему, но, напротив, как бы окаменела в неподвижности, ожесточилась на малейшие попытки не только хорошо думать, но и хорошо делать. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, и целые годы, и целые десятки лет, каждое мгновение остановившаяся в своем течении жизнь была по тем же самым ранам и язвам, какие давно уже наложила та же жизнь на мысль и сердце. Один и тот же ежедневный «слух» – и всегда мрачный и тревожный; один и тот же удар по одному и тому же больному месту, и непременно при том по больному, и непременно по такому месту, которому надобно «зажить», поправиться, отдохнуть от страдания; удар по сердцу, которое просит доброго ощущения, удар по мысли, жаждущей права жить, удар по совести, которая хочет ощущать себя. Десятками лет идет какое-то беспрерывное, непрестанное, неумолимо-настойчивое отталкивание человека от малейшей попытки «поступить» – вот что дала Гаршину жизнь после того, как он уже жгуче перестрадал ее горе. Немудрено после этого понять, что, загипнотизированный окаменевшей на десятки лет действительностью, подавленный неподвижностью грозных вопросов жизни, он мог, при *обилии мыслей* о своих к этой действительности *обязанностях*, потерять даже тень *хотения* жить во имя *желательного* и пришел к возможности, думая об одном, делать совершенно ему *противоположное*.

Примечания

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1888, № 101, 20 апреля. В переработанном виде вошло в сборник «Памяти Гаршина», изд. журнала «Пантеон литературы», СПб., 1889. Печатается по этому тексту.

В своей статье Успенский показал, что Гаршин явился жертвой невыносимых для чуткого и честного человека условий социального строя царской России. Против Успенского резко выступили либерально-народнические публицисты: Ю. Говоруха-Отрок («Южный край», 1888, №№ 2508–2515) и М. Протопопов («Северный вестник», 1888, № 7). Их статьи имели целью затушевать истинные причины гибели Гаршина, объясняя ее психическим расстройством и мотивами личной трагедии. Эту точку зрения поддержал В. Г. Короленко («Волжский вестник», 1888, № 255), осудивший «смертельно-мрачное мировоззрение» Гаршина и увидевший в пессимизме писателя причину его смерти.

Передельвая свою статью для сборника «Память Гаршина», Успенский учел материалы развернувшейся полемики. Он включил в начало статьи пересказ очерка Эльпе о параличе воли; ссылаясь на научные труды, Успенский объяснил смерть Гаршина причинами общественного порядка. Статья Эльпе позволила Успенскому определить характер болезни Гаршина, течение которой, парализуя волю, не парализует

стремления к действию. Таким образом, Успенский изменил положение своей первой статьи о том, что Гаршин стремился к смерти, на другое – он разъяснил, что Гаршин пришел к смерти вопреки желанию. Гаршин «не мог логически додуматься и дойти во имя пессимистических идей до мысли о смерти, – пишет Успенский во второй редакции статьи. – Недуг заставляет его поступить прямо противоположно этим истинным его желаниям».

При переработке статьи Успенский исключил из нее все, что могло дать повод для упреков Гаршину в личном пессимизме, какие делал ему либерал Протопопов, и подчеркнул, что виною смерти писателя были социальные условия русской жизни. Тем самым ответственность за гибель Гаршина должен был нести погубивший писателя самодержавно-капиталистический строй России.